

Светлана Рыжакова
(Москва)

ОБЫЧНЫЕ И СТРАННЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА У ЛАТЬШЕЙ (К КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ)

Wychodząc z założenia, że obraz ludzkiego ciała wykazuje uwarunkowania kulturowe, autorka rozpatruje specyficzną jego konstrukcję w łotewskiej świadomości ludowej. W kulturze tej rodzenie człowieka jest traktowane jako jego „zbieranie” przez rodziców z rozproszonych elementów. W ciele człowieka wyróżniane są tzw. „końcówki”, mające szczególnie duże znaczenie jako punkty kontaktu człowieka ze światem zewnętrznym. W ludowej kulturze Łotyszy są to: oczy, ręce, a także palce i paznokcie. W sensie symbolicznym i w znaczeniach rytualnych mają one zdolność reprezentowania całego człowieka.

W łotewskim tradycyjnym obrazie świata ciało ludzkie jest całością不稳定ną, w znacznym stopniu iluzoryczną. Stąd możliwość traktowania pieśni jako swoistej części ciała: jako „końcówki” kontaktowej, dziedziczonej po przodkach, stale obecnej i pełniącej rolę narzędzia, niezbędnego człowiekowi do normalnego, pełnego życia.

Образ человека — многоаспектный и вместе с тем единый — один из древнейших и важнейших этнокультурных архетипов. Конфигурации этого образа выявляются в различных социально-культурных и психологических сферах: мире духа, эмоций и плоти, мире межличностных взаимоотношений, государственного порядка, народных традиций, религии, идей и убеждений. Особенно ярко универсализм и специфика национально-этнических культур выражается в языковой оболочке образа человека.

Человеческое тело — один из немногих образов, подвергающихся особенно сильной стереотипизации; он культурно детерминирован как

на бытовом, так и на лингвистическом уровнях¹. Для выявления его фундаментальных детерминант важны такие основания институализации, как представления о сущности человека, его происхождении, структуре, границах и функциях его тела, внешних связях, устремлениях, смысле жизни.

Образ „физического“ человека в латышском народном сознании (который можно выявить, используя данные языка, фольклора и этнографии: народных песен, заговоров, загадок, поверий, обрядов и т.д.) — это уникальный материал для понимания балтийского этнического сознания, принципов его конституирования, архаических истоков, исторической эволюции².

Если сопоставить два „портрета человека“ („человека физического“), исходя из внешнего визуального образа и из данных фольклора и этнографии, то эти два портрета будут значительно различаться. „Фольклорный“ портрет будет своего рода анаморфозой, созданной с точки зрения „коллективных представлений“ традиционной культуры. Некоторые части тела окажутся слишком большими, местоположение других будет по сравнению с реальным изменено, третьи будут вовсе отсутствовать, зато будут присутствовать такие, каких в реальности вовсе нет³.

Если исходить из данных всего фольклора и обрядовых действий, то тело человека не представляет собой единого образа. В различных жанрах народной словесности и обрядности, каждый из которых имеет свои задачи, а, следовательно, и свою структуру, обнаруживаются свои „тела“.

Тем не менее, некоторые сюжеты словно пробиваются сквозь формы выражения. Обратимся к двум культурно-антропологическим темам:

¹ Это показано в работах французских историков (представителей школы „Анналов“: Ж. де Лоффа, Э. Леруа-Ладьюри, Ж. Дюби), ряда исследователей истории и структуры „ментальностей“ (в частности, А. Я. Гуревича), а также филологов, разрабатывающих лингвистические и когнитивные аспекты концепции человека (в частности, Н. Д. Арутюновой).

² Тема народной антропологии ещё пока редко фигурирует в латвийской научной литературе как специальный предмет исследования (исключение составляют работы К. Страуберга, Я. Блесе, П. Биркерта, Я. Курсите, И. Тале).

³ То же самое имеет место в картографии (образы размеров стран с точки зрения народонаселения, развития конкретного производства и т.д.), психологии (психологические автопортреты человека — с точки зрения важности частей тела для его сознания), страноведении (см., например, представление о двух „Индиях“: реальная — путешественников, купцов, и идеальная — на картинах, в философии, религии: Пименов А. В. Возвращение к дхарме. Москва, Наталис 1998).

появление и трансформация человеческого тела в целом, и „концы тела”.

Тело человека в целом — появление и трансформации

Тема тела человека возникает ещё до зачатия ребёнка и актуализируется в процессе зачатия. Ребёнка „делают”, это не однократный процесс. Однако это не мешает существованию двух параллельных тем — „нахождения” или „вылавливания” ребёнка (в виде насекомого или младенца), а также его самостоятельного „нисхождения” к матери. Причём, если „нисходит” только душа, если „находится” ребёнок как уже готовый или полуготовый человек, то „тело” ребёнка (включая пол, социальную функцию) „делается” по желанию родителей. „Изготавление ребёнка” описывается как технологический процесс — плетение, шитьё, рубка дров. При этом описывается половая стратификация общества: отец может и хочет зародить сыновей, мать — дочерей.

Tēvs ar māti sesirāja pītī malku skaldīdami,/ tēvs grib dēla ārājiņa,
māte meitas malējīčus./ Māte tēvu uzvarēja, dabū meitu malējīču — „Отец
с матерью схватились, в бане рубя дрова/ Отец хочет сына — пахаря.
Мать — дочерей-молольщиц:/ Мать отца победила. Получила дочь-
молольщицу” (или наоборот)⁴.

Свадьба, брак и секс понимаются как соединение разобранного человека — будущего младенца: Ai, bērniņi, ai, bērniņi, glabaj't tēvu,
māmuliņu:/ Jūs Laimiņa izkaisīja salasija (LD 44–43)⁵ — „Ай, детки,
ай, детки, храните отца, матушку:/ Вас Лаймушка разбросала, отец,
матушка собрали”.

Тема „собирания ребёнка” отражена в представлениях многих народов. С ней, между прочим, связан такой важный общественно-культурный институт тибето-бирманских народов, как „охота за головами”. Он связан с представлением о том, что отец — творец костной ткани, а мать — плоти для будущего ребёнка. Добыча голов являлась добычей жизненных сил (ведь насильственно убитые оставляли жизненный потенциал, правильное обращение с которым приводило к увеличению силы ребёнка; нага относились ко всем добытым головам как к жен-

⁴ A. Liaudenskytė-Chaladouskienė, Šventosios kuršininkų tautosaka, Etnologiniai ir folkloristiniai tyrinėjimai. Vilnius 1997, 18–19. Подобные тексты известны в Латвии в Курземе, и в Литве среди куршинников Швентойи.

⁵ LD — здесь и далее — Barons K., Visendorfs H. Latvju Dainas. 1–6. sēj. Jelgava, Rīga, Pēterburga 1896–1915.

ским)⁶. Отец добывал их для ребёнка, и в процессе зачатия они нисходили на ребёнка как квази-семя. Женщина вынашивала их, давая только свою кровь. Возможно, данный обычай развился в период усиления патриархально-клановых отношений, и был создан для уменьшения роли матери в создании ребёнка⁷.

И после рождения ребёнка происходит его „дособирание”, в особенности обретение разума, умений, способностей и вещей. Es piedzimu naudiņas, bez gudrā padomiņa./ Dieviņš man naudu deva, Laima gudru padomiņu (LD 1222) — „Я родился без денежек. Без умного разума./ Диевиньш мне денег дал, Лайма — умный разум”. „Умный разум” кладут в колыбель как жертву, зашивают в складки одежды (об этом — в крестьянских песнях: LFK 1925; 1341)⁸.

Есть и другой вариант этой темы — подбиания, вылавливания составных частей тела самим ребёнком, как в процессе зачатия, так и позднее. Ребёнок сам ловит отовсюду свои будущие части тела (как реальные, так и свойства характера, личности), и присваивает их. В латышском фольклоре значительна тема „подбиания рассыпавшегося разума” старых людей молодыми.

Подобранными частями тела (причём не только руками, ногами, но и такими „частями”, как всё тело, *augumīnis*) человек пользуется словно инструментами. Они различаются и по природе, и по функциям, и по структуре. Одни из них нельзя изменить (*augumiņš*, *dvēsele*), другими можно управлять (*locīt* — „гнуть, применять — язык”), третьи могут самостоятельно перемещаться и находиться в разных местах и качествах (*mēle sirdī* — „язык в сердце” у умного⁹, *prāts vējā* — „разум в ветре” у легкомысленного, *dūša* может быть в самых разных местах тела, в пятках, животе). Тело и разум могут возрастать и исчезать.

Выловленное и сделанное таким образом тело и его элементы представляют собой довольно неустойчивое единство, которому постоянно грозит опасность распада. Это особенно актуализируется в колдовских песнях, заговорах, в песнях и обрядах жизненного цикла.

Разум (как *padomiņu*, так и *prātu*), например, можно „вытащить”, украсть — что часто описывается в колдовских песнях. Иногда уточ-

⁶ Шинкарёв В. Н. Человек в традиционных представлениях тибето-бирманских народов, Москва 1997, 79.

⁷ Чеснов Я. В. Историческая этнография стран Индокитая, Москва 1976, 239.

⁸ LFK, здесь и далее — Хранилище латышского фольклора, Институт литературы, фольклора и искусства Латвийской Академии Наук. Первый номер означает номер манускрипта или коллекции, второй — номер текста.

⁹ LFK, 288.

няется, каким образом — „через кончики волос”, по аналогии со змеёй, которая „тащит нить” „через камень”.

Melna čuska zīdu vilka caur akmeni ūdenī;/ Tā izvilku padomiņu gu-drajam tautietiem (LD 10297, 6) — „Чёрная змея шёлк тащила через камень в воду;/ Так (я) вытащу разум у умного жениха”.

Melna čuska diegu vilka caur pelēku akmentiņu;/ Es izvilku puišam prātu pa matiņu galiniem (LFK 386) — „Чёрная змея нить тащила через серый камушек;/ Я вытащу у парня разум через кончики волос”.

Позднее эта тема магического похищения частей тела и свойств человека стала литературной метафорой: см. „украсть чьё-то сердце”.

На примере следующего понятия тела, метонимического „заменителя” всего человека, мы проследим неустойчивость этого единства.

Augums — буквально „рост”, „фигура, стан”, „колено (поколение)”, в фольклорных текстах означает „тело”, „внешность”, „самость” человека. Происходит слово от глагола *augt* — „расти” (в основе — идеома *aueg*. „увеличиваться, умножаться”). В текстах народных песен в большинстве случаев оно встречается с местоимением „мой”, и обычно в уменьшительно-ласкательной форме (*augumiņš*). Ему присущи следующие эпитеты: „большой”, „маленький”, „короткий”, „красивый” (*dalījs, skaists*), „благородный” (*dīžans*) „статный”, „чистый”, „ясный”. В народной поэзии *augumiņš* встречается в значении „я сам”, хотя такой перевод не передаёт одной важной черты, а именно: того, что речь идёт всё же о чём-то внешнем по отношению к истинной „самости” человека. О себе, своём теле в текстах песен говорится в третьем лице, часто с изрядной долей отрешённости:

Tik upē nenoslīka mans raženis augumīnis,/ Kaut Dēklīte nemetuse žuburainu žagariņu (LD 31021) — „Едва в реке не утонуло моё статное тело, Если бы Делите не бросила сучковатую хворостину”.

Trīm kārtām diena ausa, trīm kārtām saule lēca,/ Trīm kārtām cēdru josta apkārt manu augumiņu — „Трижды день занимается, трижды солнце восходит,/ Трижды обвит витой пояс вокруг моего тела”.

Metu zeltu, met' sudrabu sava kapa vietīgā,/ Negrib zelta, ne sudraba, gribēj' manu augumiņu. — „Бросаю золото, бросаю серебро на место своей могилы. Не хочет ни золота, ни серебра, хочет меня самого”.

Kungi mani karā sūta ar to ledus zobentiņu./ Karā bija karsta saule, izkūsts manis zobentinis,/ Izkūsts manis zobelinis, pazūd manis augumīnis — „Господа меня на войну послали с этим ледяным мечиком./ На войне было жаркое солнце, растаял мой мечик,/ растаял мой мечик, исчезло моё тело”.

Krustu metu, Dievu lūdzu tautu sētu piējājot;/ Krustīs mans augumiņis, tautu sēta nekrustīta (LS 18614) — „Накладываю крест, молюсь Богу, проезжая подворье жениха:/ Крещено моё тело, подворье жениха не-крещено”.

Vakar manu augumiņu ar tautieti līdzināja... — „Вчера „меня” с женихом венчали...”

Velc, tautiet, savus svārkus, Liec manā pagalvī:/ Lai tie tvi svārki redz, Ko redz mans augumiņš (LTV 1730, 43050¹⁰, var. ūzas, bikses) — „Снимай, муженёк, свою одежду (вариант — штаны), клади в моё изголовье,/ Пусть твоя одежда видит, что видит моё тело”.

Перед родами, входя в баню: „Бросаю золотое колечко, бери Лаймушка, золотую жертву, не бери мою душеньку/тело” (augumiņu).

Три Лаймушки за дверью бани, одна женщина в бане. Одна говорит — идём внутрь, другая — не пойдём, третья — пойдём внутрь, руководить телом женщины (iet iekšā, Vadot sivas augumiņu). (LT V 1600, 11092).

Тело человека (augumiņš) часто ассоциируется с красотой, статностью (skaistums — daiļumiņš). „Потерять тело” иногда означает потерять красоту и здоровье:

Kur, māmiņa, pazaudēji Savu skaistu augumiņu?/ Pirtī pēra mani Laima, Tur pazūda daiļumiņš (LT L 17, 28628) — „Где, матушка, ты потеряла своё красивое тело?/ В бане парила меня Лайма, там потерялась красота”.

Kumeliņa galvu glaudu ar abām rociņām./ Tas iznesa augumiņu caur deviņi zobentiņi (LTD X 1379, 1255)¹¹ — „Глажу голову конька обеими ручками./ Он пронес „меня” через девять мечиков”.

Существуют похоронные песни, в которых словно от лица покойного отдаются распоряжения во время его похорон; речь идёт именно о „теле” — augumiņu.

Ar Dieviņu, tēvs, māmiņa, labvakar, Zemes māte,/ Labvakar, Zemes māte, glabā manu augumiņu! (LD 27521) — „С Богом, отец, матушка, добрый вечер, мать Земли,/ Добрый вечер, мать Земли, храни моё тело!”

Собирание тела человека проявляется не только в процессе зачатия. Записан обряд, в ходе которого подобное действие совершается в своего рода „лечебных” целях. Ритуальному „пересобиранию” — „одеванию” в части тела коня — подвергается человек, не отгадывающий загадки.

¹⁰ LD (здесь и далее) — Latviešu tautasdziesmas. 1–5. sēj. Rīga, 1979–1984.

¹¹ LTD (здесь и далее) — Latviešu tautas daiņas. Sak. R. Klaustiņš, red. J. Endzelīns. 1–12. sēj. Rīga, 1928–1932.

Во время загадывания загадок, если кто-то не отгадал шесть загадок подряд, ему завязывали глаза, клали вверх ногами на перевёрнутый вверх ножками стул, и возили вдоль столов отгадывальщики, считали: „Mēs tevi vadā, mēs tevi vadā vecās zirgu ribenīcās gar kalniem, gar lejām, gar upēm, gar ezeriem gar baznīcas durvīm. Lai Tu topi gudrāks, lai Tev velns nemāna, lai Tu mīklas uzmini. Lai viss ļaunums atstājas. Zirga kuņģis tava cepure, zirga ausis tavi cimdi, zirga acis Tavas brilles, zirga zarnas tavi groži” — „Мы тебя водим, мы тебя водим на старых рёбрах коня вдоль гор, вдоль долин, вдоль рек, вдоль озёр, вдоль церковных дверей. Пусть ты станешь умнее vs. мудрее, пусть тебя чёрт не морочит, пусть ты будешь отгадывать загадки. Пусть отступит всё зло. Желудок коня — твоя шапка, уши коня твои перчатки, глаза коня твои очи, кишкы коня твои вожжи”. Произнося это, онисыпали на него сверху всякие тряпки, верёвки, всё, что попалось под руку. Когда куча на нём была уже довольно большая, его оставляли и уходили. Тогда он с великим трудом освобождался и шёл опять отгадывать загадки¹².

О том, какие трансформации возможны с телом человека, свидетельствуют и современные повествования, на которые особое внимание обратил латышский исследователь фольклора Гунтис Пакалнс¹³. Одну из таких реально произошедших, но имеющих все основания для мифологической интерпретации историй записала латышская писательница и журналистка Инеса Зандере¹⁴.

„Бабушка в пирожках со шпигом”

„Одна пожилая латышка, во время войны эмигрировавшая в Германию, перед смертью высказала одно желание — быть погребённой на родине. Но в то время исполнить это было делом нелёгким. После кремации близкие усопшей смешали её прах с мукою, поместили его в фирменный мучной пакет и послали родственникам в Латвию. Конечно, всё было описано также в посланном письме. Однако близкие не учли, как в те годы работала советская почта: письмо с просьбой похоронить прах пришло позднее пакета. Мука была уже использована на пирожки со шпигом...”

¹² LFK, 76, 1864, Рига, Марупе; Велмиера, Руйена.

¹³ Pakalns G., Ein sowjetischer Mensch kann alles, рукопись в печати.

¹⁴ Inesa Zandere, Diena, 4 jūlijā 1992.

„Три кончика” тела человека

В китайской антропокосмологии говорится о „четырёх кончиках” тела человека: языке (кончике плоти), зубах (кончике скелета), ногтях (кончике сухожилий), волосах (кончике кровеносной системы)¹⁵.

Исходя из латышских фольклорных текстов, можно выделить следующие „кончики тела человека”: глаза (кончик сердца, нрава), ногти (кончик руки и разума) и песня (кончик всего мира и времени, собранного человеком в процессе жизни в клубок). Рассмотрим их подробнее.

Глаза

Глаза самым непосредственным образом связаны с характером, эмоциями, разумом и душевными качествами человека. *Глаза как окна из внутреннего мира человека во внешний*: „Два маленьких окошка, через них весь мир видно” (834, 150).

„*Видит глаз, сердце болит*” (аналог — „*с глаз долой, из сердца вон*”). Redz actiņa, sāp sirsniņa, nedrikst sava bildināt. Daudz ļautiņu redzetāju, daudz ļauna vēletāju (LD 10585) — „Видит глазик, болит сердечко, не могу своего сватать,/ Много людышек смотрящих, много зла желающих”. Kariet manu vainadziņu kur actiņas neredzēja Acs redzēja, sirs sāpēja, galvā likti nedrikstēju (LD 24571) „Вешайте мой веночек где глазки не видят,/ Глаз видит, сердце болит, на голову надеть не могу”.

„*У тебя глаза — . . . !* — и следует характеристика глаз, означающая и черты характера” (в песнях, фразеологии, пословицах). „Красные (рудые) глаза” — злобный, но при этом — хозяйка. Серые — добрая, но при этом — холопка. Синие — и добрая, и хозяйка; честный, правдивый, лучший цвет глаз у желаемого супруга. Zilajā acīs — Dieva prāts (LFV 124)¹⁶ — „В синих глазах — Божий ум” (возможно, это отголосок темы „Диевс — сияющее голубое небо”). Карие или чёрные — могут быть даже красивее, чем другие, это знак благородного происхождения, но признак человека нечестного, вспыльчивого, любящего командовать и хитрого. Разноцветные глаза — значит этому человеку нельзя доверять, но при этом он очень счастливый. Чёрные — человек гневливый, хитрый. „Глаз завистника” (пусть заастут, выклюются).

¹⁵ Малявин В. В. Традиция „внутренних школ” ушу. Москва 1993, 40.

¹⁶ LFV — Latviešu frazeologiskā vārdnīca. 1–2. Sēj. Rīga, Avots, 1998.

Глаза связаны с умом: они видят, особые глаза — признак ума: *Acs redz tālu, prāts vēl tālāk* (LD 1184); узкие глаза (как у свиньи, кошки) — признак человека „пьющего кровь”, жестокого, но при этом они могут быть красивыми. Это знак пронзительного ума: *gudri ļaudis šaurām acīm* (LD 12304, 4); „*Šauras, šauras man actiņas, es puisīti (meitiņu) cauri redzu*” (LD 20631; 10619) — „Узкие, узкие у меня глазки, я парня (девушку) насквозь вижу”.

Глаза выступают как синоним лица: „глаза набело не вымыла”, „солнцу глаза не показывала” (LD 11649.1).

Однаковыми глаза становятся, если двое спали вместе (в том числе в колыбели) или мыли глаза (лицо) одной водой. Таким образом, по глазам можно определить спавших вместе парня и девушку, а также родных братьев и сестёр.

Глазами можно совершать различные действия (фактически глаза приближаются к рукам). Прежде всего, они тесно связаны с жизнью.

„Солнцу глаза показывать — жить”. *Balta koka namu daru, zaļa maura jumtu jumu, Mūžam durvu neatvēru, saulei acu neradīju* (LD 27555) — „Белого дерева дом делаю, зелёной травы крышу крою,/ Вовеки дверь не открою, солнцу глаз не покажу”. „Закрыть глаза” *aizvērt, aizdarīt, slēgt acis* — умереть.

„Добывать что-то (кого-то) глазом”. „*Te ne bija tev, brāliti, šis vasaras lūkojums! Es būt' tādu — nolūkojse, par istabu pāriedama, par istabu pāriedama, vienu acs uzmetuse*” (LD 21370) — „Ну вот тебе, братец, этим летом высмотренное! Я бы такую высмотрела, по комнате пройдя, по комнате пройдя, только глазом поведя”.

Ра̄ем *acis pirkstos* (rokā), „возьми глаза в пальцы (в руку)” — призыв быть очень внимательным.

„Покормить глаза” (*pamielot acis*) — смотреть на приятные вещи, „тешить взор”.

„Один глаз делает одно (или такой), другой — другое (или другой)” — маркирует два различных чувства в человеке. „*Migu, migu vien' acīja, aizmigs otra pakļa; viena gauži miegu pilna, otra pilna asariņu*” (LD 2071) — „Засыпает, засыпает один глаз, засыпает второй за ним; Один сильно полон сна, второй полон слёз”. „*Vien' acīja miegu grib, otra baltas villainītes*” (LD 2072) — „один глаз спать хочет, второй — белых виллайнे”.

Любить что-то: глазами (самое поверхностное чувство), разумом (среднее) и сердцем (самое глубокое). „Глазами любит жених, разумом не любит./ Любил бы разумом, давно бы был моим пахарем” (LD 11396 1).

Глаза тесно связаны с руками. „Если ты посмотрел в глаза кому-то, у кого они болят, то нужно посмотреть на свои ногти, чтобы болезнь не пристала” (LTT 99)¹⁷.

Глаза, как и руки, тесно связаны с работой. Работать словно без глаз/рук: *Strādā kā bez acīm/rokām* (LFK 300).

Рука и её части

Рука в фольклорных текстах выступает как фактический заменитель человека. В свою очередь, пальцы и ногти — заменители руки и человека. Руки связаны с трудом, важнейшей особенностью человека у латышей. (Неумение и лень — признак чужих, цыган). „Бог родил птицу с крыльями, человека с руками”.

„Посмотреть рукой” — *apraudzīt ar roku* — „самому увидеть, убедиться”.

„Обеими руками” — с удовольствием (то есть без разногласий с самим собой, без лицемерия, т.к. — „одной рукой даёт, другой отнимает”).

„Прибрать к своим рукам/ногтям”, „иметь в своих руках/ногтях”.

„В руках жениха” — замужем: „Попели мы, сестрицы, в одном месте!/ Бог знает, в следующем году где мы каждая будем петь!/ Одна в руках у жениха, другая — в песчаной горке” (LD 1995, 91).

„Ручка” — в текстах народных песен и в анекдотах — эвфемизм мужского члена. *Ielikt, iesniegt „gociņu”* — „вложить руку” — значит, совершить половой акт¹⁸.

Особое внимание следует обратить на связь души с рукой, реализуемой в сюжете „в горсти несут душу”. В опасных обстоятельствах, главным образом, при выходе в море или при встрече с потенциальным обидчиком, душа человека перемещается в горсть: *Jūrā gāju naudu sēt, saujā nesu dvēselīti* (LD 30760) — „В море иду деньги сеять, в горсти несу душеньку...”. „Молодая девушка избегает стыда, в горсти несёт душеньку/ Вымокнув, замёрзнув, бредёт по росе, пой” (LD 30762).

Пальцы

Каждый палец имеет свои имена. Отрубленные пальцы хоронили на кладбище (LTT 23899, Триката).

¹⁷ LTT — здесь и далее) — *Latviešu tautas ticējumi. Sakārtojis P. Šmits. 1–4. sēj. Rīga, 1939–1941.*

¹⁸ *Latvju tautas nerātnās anekdotes. Sakopojis un redigējis P. Birkerts. Rīga, Elpa, 1996, N. 4694.*

Многочисленны и разнообразны поверья о состоянии и форме пальцев. Латыши замечали, что у кого длинные пальцы — тот щедрый (LTT 23850), вороватый (LTT 23851), скупой (LTT 23860). О вороватом человеке говорили: „вообще человек хороший, только пальцы длинные”. То же самое говорится о „длинных ногтях: garnagi — „длинноноготный”, т.е. вор.

Если на пальцы нападала ржавчина, то это предвещало смерть среди близких (LTT 23904).

Особое отношение к большому пальцу — латышское Īkšķis¹⁹. В поговорках отражено амбивалентное отношение к нему: kā īkšķis означает и „очень большой” и „очень маленький”. Большой палец выступает символом всего человека. В предсвадебных гаданиях — „если двое складывают руки, и чей большой палец прикрывает на большой палец партнера — тот будет всю жизнь властвовать” (правый — муж, левый — жена; LTT 25735).

Если негде сесть, говорится: Sēdi uz īkšķi (LFV 265); Sēdi uz dures, uz īkšķa atspiedies (LFV 266).

Ногти

Имея в виду природу ногтей (твёрдость, свойство постоянно возрождаться), народные предания гласят: ногти — это то, что не подвластно времени. „У Адама и Евы в раю было тело такое, как человеческие ногти, поэтому они не старели. Когда они съели яблоко греха — то стали мягкими и морщинистыми. Только на концах пальцев остались знаки того, какими были люди до грехопадения” (LFK 1600, 8536).

Функционально ногти заменяют пальцы и руку, что отражено в пословицах, поговорках, фразеологизмах: Nem kā bez nagiem (берёт, словно без ногтей); čem ko nagi nes („берёт, что ногти способны вынести”)²⁰, Pievaldi savus nagus/rokas! („следи за своими ногтями / руками!”), Nebaz savus nagus kur nevajag! („не суй свои ногти куда не надо!”), Dod tik pa nagiem! („Как дать по ногтям!”)²¹.

В народных песнях как „ногти” обозначаются результаты работы, в особенности ручной, например, вышивания, вязания, ткачества. „Матушка моя умерла, и косточки сгнили;/ Ноготочки только остались, на

¹⁹ Происхождение слова неясно. Существует гипотеза, производящая слово от литовского īkš — „один”. Однако в литовском языке „большой палец” — nykštys, в прусском — instixs. Возможно, происхождение родственно īss — „короткий”.

²⁰ BFK 386.

²¹ P. Birkerts, Latvju tautas estetika, Rīga, 1938. 50. lpp.

дне моего сундука” (LD 49720) „ещё ноготочки цветут-цветут на дне моего сундука” (LD 49720, 1) — то есть связанные, вышитые вещи.

Перчатки (варежки)

Важным заменителем руки у латышей выступает рукавица. Загадка гласит — „пять пальцев, но не рука”. (LFT, 3075). „Один единственный проход, пять пещер” (LFK 828, 2674). „Пять погребов, одни двери” (LFK 929, 19154).

Рукавица выступает символом человека вообще. „Если во сне видишь перчатки, то с кем-нибудь познакомишься” (LTT 4599).

Рукавицы — обязательная составляющая всех праздничных костюмов, большинства обрядов латышей. „Когда один латыш нанимается к другому на работу, они всякий раз оговаривают, сколько пар рукавиц в год он получит — четыре пары пастуху, восемь пар батраку и т.д. Также есть у них обычай раздавать рукавицы, по случаю праздника или других торжеств. У свадебных гостей перчатки вместе с полотенцем (как символ чистоты) привязаны к поясу, словно орден. Невеста должна иметь на свадьбе до ста пар рукавиц и полотенец”²².

Рукавицы присутствуют на праздниках жизненного цикла, особенно свадьбе и похоронах. Имеются особые по цветовой гамме и узорам свадебные перчатки молодых и „догоняльщиков”.

„Поднимайтесь, мои сыновья, надевайте сапоги! / Вот, сыночек, белые перчатки, вот платочек для слёз. / Нужно ехать, сыновья. Сто верст, пока вы сестры не догоните!” (LD 13646, 6).

Праздничные варежки²³ не всегда надевали на руки, они вязались слишком большими, а большой палец пришивали низко и посередине. Такие варежки засовывали за пояс.

Cimdu audēja, „вязальщица рукавиц” — метафора невесты, жены. Дразнить парня варежками — это действие имеет безусловные эротические коннотации (варежка выступает как заменитель женского органа, туда засовывают руку, которая, как упоминалось, является эвфемизмом мужского члена). Варежки или перчатки были обязательным подарком невесты жениху, их дают за первую подковку жеребца кузнецу (двойные за кобылу), дают тому, кто объезжает лошадь (LFK 523, 801), дают на похоронах людям, несущим крест и гроб, роющим могилу.

²² Kohl J. G., Leiši un latvieši, Rīga, 1871, 21.

²³ Музей истории Латвии, Отдел этнографии, №17870, Вентспилс. Аналогичные варежки известны у эстонцев.

При вязании и ношении рукавиц соблюдаются предписания, которые позволяют сделать так, чтобы носящий их был счастлив и не пласал: „Когда вяжешь новые рукавицы, после каждого круга нужно накладывать крест на рукавицу, тогда носящий всегда будет счастлив и ему не придётся плакать” (LTT 4585). „Нельзя подавать руку в рукавице, тогда отдашь своё счастье” (LTT 4588, 4589 и др).

Странные (трансперсональные) „части тела”

В культурной антропологии имеются две перспективы „нормальности” и „странных” частей тела. Во-первых, с точки зрения самой культуры (что кажется странным, необычным представителям описываемой культуры). Во-вторых, с точки зрения наблюдателей — соседей или исследователей.

Животные части тела или особенности у людей (рога, хвост и копыта, обильные волосы, звериные уши) редки, но, согласно народным представлениям, встречаются у необычных людей колдунов, ведьм. Герой латышских сказок Лачусис или эпической поэмы Андея Пумпурса Лачплесис рожден или вскормлен медведицей, и у него были медвежьи уши. Другая группа „странных частей тела” — лишняя кость (убивание новорожденных с лишним пальцем у акха; лишняя кость у воров, разбойников или шаманов, колдунов) или особые предметы (шарик из горного хрусталия в голове у шаманов и провидцев).

Мы же обратимся к иного рода „частям тела” — трансперсональным, таким, которые на первый взгляд только условно можно назвать „частями тела”.

Песня

Чрезвычайно существенным элементом латышской народной культуры является песня. Не случайно К. Барон поместил песни о песнях в начало своего сборника. Однако песня является не только занятием, повествованием, частью ритуала и т.п., но и „частью тела”.

Чтобы понять это, нужно определить, что же собственно такое — часть тела? Очевидно, что в основе этого понятия лежат два критерия. Во-первых, генетическая зависимость, своеобразная неследуемость, постоянное присутствие при человеке (неотделимость — в отличие от одежды) и, следовательно — очевидность (хотя не всегда осмысленность и актуальность). Во-вторых, часть тела имеет и выполняет (или

— с её помощью человек выполняет) особые функции, она взаимосвязана с другими частями, то есть является инструментом. Только на стыке этих двух свойств можно говорить о собственно частях тела. Помимо них существует множество вещей, временно играющих роль „частей тела”, имитирующих их, и наоборот, настоящие части тела отделяются и начинают жить своей жизнью (иногда это происходит по желанию человека, иногда — бессознательно, а временами и вопреки желанию — вспомним „Нос” Н. В. Гоголя, „Тень” Г.-Х. Андерсена).

Песня у латышей удовлетворяет обоим критериям. Песня, как и части тела — это нечто передаваемое по наследству от родителей, но при этом её собирают по всему миру, сматывая в клубок. Часто говорится о „моей песне”, которая нужна для жизни не меньше чем руки, глаза, разум, мудрость, красота. Знание множества песен — безусловно, признак мудрости.

Песня, как и разум, передаётся по наследству. „Песня моя, поющаяся, не мной она подмечена,/ Бабушка научила, сидя на корточках за печкой” (LD 15).

Песня — родовой признак: сходные песни, как и глаза, свидетельствуют о том, что девушки — сёстры. „Одна девушка поёт в Риге, другая в Валмиере;/ Обе поют одну песню, — одной ли матери дочери?” (LD 1).

Винить голос, когда человек поёт, чревато самыми тяжелыми последствиями; это плохо отзывается на теле и душе поющего. „Тих, тихо попою, без солнца вечером./ Чтобы не слышали злые люди, чтобы голос не портили; Только голос разве будут портить чистое тело” (LD 437, 2).

Песня, однако, в отличие от прочих частей тела, сильнее их. Как постоянное действие, она не прекращающаяся и после смерти (т.к. духи усопших тоже поют): „Поя, рождаюсь, пой, расту, пой, век проживаю,/ Поя, идёт моя душенька в садик Божьих сынов” (LD 3; или — „песнями меня положат в белую песчаную горку”). С песнями лучше жизнь, смерть и жизнь после смерти: „Кто там звонко ликует на вершине молильного холма?/ Наша сестричка ликует, пася коров велей” (LD 10).

Песни, как и части тела, как разум, собираются по свету — „по одной собрала, по чужим землям бродя” (LD 20), или получаются от божеств — Мары, Лаймы²⁴: „Милая Лайма, Божья дочь, иди песенки делать” (LD 22). Кроме того, песни, как и детей, можно найти, добыть в „кладовой песен” (LD 26).

²⁴ Мара, песен сказывательница — LD 22.

С пением песен, человеческой жизнью и временем связан чрезвычайно интересный и ёмкий образ „клубка песен”²⁵. Песни сматывают в клубок, затем — разматывают. Как для первого, так и для второго действия существует определённое время (ср. — „время собирать камни, время разбрасывать камни”). *Baliņos, dzīvodama, dziesmas tinu kamolā;/ Kad aizgāju tautiņā, pa vienai šķetināju* (LD 27) — „У братьев живя, песни сматывала в клубок,/ Когда ушла к жениху, по одной разматываю” (вариант: „когда хожу — пою, по одной разматываю”)²⁶. Собирают, стягивают в клубок песни, ожидая свадьбы — своей, сестры, брата. Клубки песен сматывают весной и летом — во время цветения и роста растений, обилия продуктов и в ожидании замужества. Кладут клубки песен в лукошко или сундук и хранят в кустах (ореха, ивы), зарослях крапивы, хмеля, клевера, в опилках, в навозе, под мельницей (то есть в тех местах, откуда потом берутся дети). В этом пассивном, латентном состоянии „клубки песен” хранятся всю зиму, или до первой необходимости. Девушка, выйдя замуж и перейдя в статус молодой невестки, разматывает клубок. Однако, забеременев, она вступает в новый цикл и опять начинает „сматывать клубок”: *Tautiņas iziedama, dziesmas tinu kamolāje;/ Dievs to zina, ka bērniņi vaļā viņas šķetinās* (LD 216) — „Выходя замуж песни сматываю в клубок;/ Бог знает, как дети будут их разматывать”. Смерть обозначается как самопроизвольное разматывание клубков: *Apsagāza vācelīte, iztecēja kamoliņi;/ Nomirst tēvs, māmuliņa, tad bērniņi bārenīši* (LD 3939, 2) — „Рассыпалось лукошко, разбежались клубочки;/ Умерли отец, матушка, теперь детки — сиротки”.

Клубок, как ёмкое объединение времени и пространства, встречается в текстах песен, сказок, заклинаний, верований. Он может обладать как благими, защитными свойствами (пояс с девятью клубками, которым Лайма опоясывает роженицу), так и негативными (например, души усопших, чума, другие болезни в виде клубка)²⁷.

Ряд песен указывает на то, что имелись представления об этом клубке как о чём-то постоянно присутствующем в человеке (в его сознании и умении) и применяемом, прилагаемом наряду с руками к работе, ко всякому действию. Это сближает песню с рукой, пальцами.

²⁵ См. Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. (Rīga, Zinātne, (1999). 15. lpp.

²⁶ Глагол „разматывать” тесно связан с сучением нити, разматыванием нити и разговором, беседой, воспоминаниями.

²⁷ Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatmacronurā, mākslā. (Rīga), Zinātne, (1999), 16. lpp.

Lai es gāju, kur iedama, līdz man dziesmuvācelīte./ Kāds man teica dzedru vārdu, es ar dziesmām atbildēju (...) — „Куда бы я ни шла, при мне — лукошко с песнями,/ Когда мне говорят суровое слово, я песнями отвечаю”.

Vai es gāju dzirnu griezt, vai rījiņas kuldināt,/ Kuru darbu padarīju, tam dziesmiņu nodziedāju (...) — „Иду ли я мельницу крутить, или ригу молоть,/ Какую работу сделаю, той пропою песенку”.

Песня, как и глаза, как и ловкость рук, выступает индикатором характера человека. „Меряясь пенями”, проверяют, сойдутся ли характерами. Как человек поёт, так живёт: „Кто поёт куцо, кто поёт куцо, ты, сестрица. Не пой куцо:/ Найдёшь у жениха куцую свою жизнь” (LD 342).

„Напеть себе” (словно за уши притащить, притянуть) можно что угодно, особенно мужа, или брату — невесту. Можно также „пропеть” приданое, венок.

Песня словно предвещает человека, она поспевает быстрее: сначала песня, голос уносится к жениху, за ней приходит сама девушка.

Песня выступает как физическая, причём очень существенная часть тела. Это отражено во фразеологизмах: račemt (grābt) aiz dziesmu; ḷerties pie dziesmas — „отнять у кого-то свободу, взять (схватить) за живое”; atračemt (aizvilk) dziesmu (kādam) — „убить, уничтожить кого-то” (LFV 1294).

Песня, будучи трансперсональным явлением, выступает не только как „часть тела” человека, но и как мать, пространство, место пребывания всего народа. О том, что с помощью пения люди выживали во время войны, ссылок, свидетельствуют многие информаторы—латыши старшего поколения. Фольклорная тема — сирота согревается, успокаивается в песнях — актуализирована и поднята на высокий патриотический уровень в стихотворении Мары Залите „Mēs nākam iz zaļas zales, mēs nākam iz tumšas nakts” — „Мы вышли из зелёных трав, мы вышли из тёмной ночи”:

„Neraudi, bārenīt, naraudi,
Dziesma ir māte mūsu.
Naraudi, brālīti, naraudi,
Mums dziesma par dzimteni kļūs.
Kad tēvzeme izdalīta,
Dziesma mums tēvzeme būs” —

„Не плачь, сиротка, не плачь,
Песня нам матерью будет.
Не плачь, братик, не плачь,
Нам песня родиной станет.
Когда отчизна разделена,
Песня нам отчизной будет.”

Вывод

Весь мир является потенциальным „телом”, более или менее отчётливо реализуемым в различных ситуациях. Особенно полно это проявляется в процессе, зачатия и развития ребёнка, процессе проигрываемом на всех возможных технологических языках народной культуры („изготовление” — плетение, ткачество, вырезание, „нахождение”, „вылавливание”, „нисхождение” и др.). Развитие тела ребёнка от момента „предзачатия” является аналогом развития вселенной из воды до тверди, „каменеющего крика”²⁸.

В теле человека можно обнаружить так называемые „кончики” — части, непосредственно связывающие человека с внешним миром. Эти части тела получают особо широкое значение, иногда символизируют всего человека, символически и ритуально заменяют его (словно послы представляют государство в чужих странах). Таковыми, безусловно, выступают глаза, руки (и самостоятельно — пальцы и ногти) и песни; они тем близки между собой, что их можно прикладывать ко всякому делу.

Физическое тело, несмотря на кажущуюся очевидность, в текстах латышского фольклора и в картине мира представляется неустойчивым единством, в значительной степени иллюзорным и ситуативным. Благодаря такому механизму его устройства, как самостоятельное „подбиранья”, „выхватывания” из окружающего пространства человеком „частей тела”, частью тела может стать всё что угодно. Безусловно, эта принадлежность (как и инструмент в руке, одежда на человеке) является временной, и рано или поздно связь будет разрушена, а инструмент отделён от человека. Однако то же самое можно сказать и обо всех „обычных” частях тела: разрушение их связей обязательно происходит в конце жизненного пути.

²⁸ „Каменеющий крик” — образ Велимира Хлебникова, первичное раскрытие Вселенной „Большой Взрыв”. О творении детей и трансформации зародыша от воды до тверди в русском фольклоре, обрядах и верованиях — см. в работах Д. А. Баранова.

**ORDINARY AND STRANGE BODY PARTS OF THE LATVIANS.
A CONTRIBUTION TO THE CONCEPTION OF MAN
IN TRADITIONAL CULTURE**

The assumption that the conception of the human body is culturally determined serves as the basis for considerations of the conception in Latvian folk awareness. In Latvian folk culture, giving birth to a child is treated as 'collecting' the child's parts by the parents. The human body is said to have the so called 'endings' of particular importance as points of contact of a person with the outside world: these are eyes, hands, fingers and fingernails. In the symbolic sense and in rituals they can represent the whole person.

In the traditional Latvian worldview, the human body is an unstable and largely illusory entity. Hence a song can be treated as a peculiar body part: a contact-type 'ending', inherited after one's ancestors, an ever-present tool indispensable in normal full life.